

(Прошу прощения — много длинных цитат. Но это значит, что книга хорошо написана и ее приятно цитировать).

И поэтому в рассуждения об искусстве органично входит пассаж про моллюсков или четырехстраничное описание сбора грибов (в венецианском аэропорту, а до этого — четвертью века раньше! — в Иерусалиме), перемежающееся разговором о «пламенеющей готике». Потому что это в каком-то смысле одно и то же. Потому что:

«Волшебный гриб, ажурный, как окна Ка д'Оро, и пахнувший «гниющей плотью», как сама венецианская история, вырос передо мной. Я не искал его, такие грибы и незачем искать и найти невозможно. Это он нашел меня. И этой очевидной метафорой я заканчиваю свои записки».

Дымшиц — петербуржец и специалист по еврейской культуре. Понятно, что обе темы в книге не возникнуть не могли. Но и они поворачиваются неожиданной стороной.

Да, два великих города сближает только «огромность и сплошность исторической застройки, сохранность архитектурной среды». Параллель между Петербургом и Венецией основана на неосуществленных петровских планах — и в конечном итоге на историческом недоразумении. Прогулка на катере по каналам, которая в Петербурге (и даже, добавим, в Амстердаме) — развлечение, в Венеции — быт. По воде ездят на работу. И все же в некий момент автор дневника видит о сон о всемирном потопе (о подъеме уровня океана), в результате которого Венеция потонула, а Петербург превратился в Венецию: по нему ездят на лодках. Тоже сюжет.

Что до евреев, то что первым приходит в голову при мысли о венецианском гетто? Правильно, Шейлок. Так вот, это имя упоминается в книге Дымшица ровно один раз — когда автор покупает в лавке грибы и радуется дешевизне (Отелло и Дездемона, правда, совсем не упоминаются). Речь идет о вещах куда менее «попсовых»: содержательная выставка в муниципалитете, посвященная истории гетто, бедная ашкеназская синагога...

Интересно, однако, что итальянских евреев Дымшиц видит через призму ренессансной живописи:

«Двадцать лет тому назад я оказался в Итальянской синагоге в Иерусалиме. Больше всего меня поразили лица прихожан. До этого я встречал такие только на картинах кватрочентистов, например Пьеро дела Франческа. Рядом со мной на скамье сидел вылитый Федерико да Монтефельтро, тот же нос крючком и выпирающий купол лба. За ним некто с нижней челюстью Михоэлса и разбойными глазами кондотьера. Я тогда подумал, что итальянские евреи сохранили фенотип ренессансного человека».

И не только евреи:

«Вчера перед нами выступали два итальянца: первый — вылитый маскарон с замкового камня, тип зрелого мужа с круглой бородой и крупнокурчавой шевелюрой; второй — копия Панталоне из комедии дель арте».

Что здесь — авторская оптика или действительно сохранившийся тип — не физико-антропологический, конечно, при чем здесь это, все средиземноморцы более или менее одинаковы — а тип мимики, взгляд, осанка? Действительно ли старое искусство до сих пор присутствует в жизни, быту, в поведении людей и в самих их телах? Или это свойство восприятия перекормленного культурой интеллектуала? Ответа на этот вопрос, видимо, нет.

Санкт-Петербург

Валерий ШУБИНСКИЙ



«...КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ...»

В. А. Грихин. Лекции по древнерусской литературе. Подготовка текста Т. Л. Александровой, Т. В. Суздальцевой. М., «Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина», 2017, 480 стр.

Признаюсь, я долго думал, как назвать свой отклик на эту книгу. Выбранное заглавие сначала отталкивало своей банальностью: цитата из Тютчева давно стала затертой. И все же, пожалуй, именно она — но только в таком, усеченном

виде — отражает самую суть воздействия лектора на слушателей, учителя на учеников. Вячеслав Андрианович Грихин, читавший курс по древнерусской литературе на филологическом факультете МГУ в конце 1970 — начале 1980-х годов, запомнился тем, кто имел счастье его слышать, даже не столько содержанием лекций, сколько своей речью — неторопливой, незаказанной, живой, своей теплой интонацией, исполненной любви к старинной словесности. Прошло тридцать лет со дня его внезапной ранней смерти — и вот цикл этих лекций, реконструированных по студенческим конспектам двумя самыми благодарными и не ленивыми слушательницами и участниками грихинского спецсеминара (сокурсницами автора этих строк), наконец издан и предложен читателям.

Михаил Леонович Гаспаров как-то признался: «Знакомым студентам я говорю: „Помните, что университет — это пять лет, подаренные вам для самообразования, которому мешают лишь мелкие досадные заботы, например, посещение лекций”. Но, конечно, человеку другого душевного склада будет легче воспринимать науку с голоса и в компании. Если повезет попасть к хорошему учителю — это большое счастье. Но ведь учебники <...> для того и существуют, чтобы помочь тем, кому не повезло попасть к хорошему учителю. Хороших учителей — сотни, а тиражи у книг — тысячные»¹. Грихин, несомненно, был *хорошим* (за недостатком более выразительных слов ограничусь этим) учителем — об этом свидетельствуют и судьбы его учеников: иные из них еще в студенческие годы ради работы в его семинаре переводились на русское отделение с романо-германского, в те годы имевшего репутацию намного более «престижного», многие ученики стали известными учеными-медиевистами. Впрочем, о Грихине вспоминают не одни лишь древники: его лекции и другим студентам запомнились как одни из самых увлекательных и симпатичных². Увы, оказавшись преданным тиснению, его живое слово многое потеряло, стало более плоским и одномерным, хотя (как слушатель лекций, могу утверждать это) в целом нет оснований сомневаться в достаточной точности студенческих конспектов. Пример, доказывающий, что книга, действительно, не всегда может заменить устную речь лектора. Хотя я лично, как и М. Л. Гаспаров, всегда предпочитал как источник информации печатный текст, речь молчаливую, лекциям и докладам, у слова устного есть неоспоримое преимущество, заставляющее отказаться от популярной ныне идеи заменить лектора аудиоплеером (кое-где в отечественном вузовском образовании дело дошло до ее реализации!). Потому что устное слово *настоящего* преподавателя выполняет, если воспользоваться известной классификацией Р. О. Якобсона, функцию не только коммуникативную (информативную), но и эмотивную (экспрессивную) — побуждает сосредоточиться на предмете рассказа, вызывать к нему интерес и любовь.

Но даже потеряв интонационную теплоту и глубину, потеряв обаяние, исходившее от стоявшего за кафедрой, эти лекции остаются и в печатной форме явлением по-своему замечательным.

Их автор смог прекрасно и, если угодно, доходчиво объяснить своеобразие древнерусской словесности: «Средневековому человеку присуще было иное мировоззрение, иное видение мира, иные принципы ориентации в окружающей действительности, иные нравственные и эстетические ценности. Отсюда вытекает необычность предмета и содержания средневековой культуры. Типичным образцом средневековой архитектуры является христианский храм, в живописи преобладает икона, в литературе — произведения религиозного характера. Свообразие содержания средневековой культуры во многом определялось особой ролью христианской религии и Церкви в истории средневекового общества. Христианство было не просто религией, но и политической доктриной, и моральным кодексом, и философией, и правом.

Христос — самое светлое и единственно прекрасное для средневекового человека, его этический и эстетический идеал». Утверждение не предстает авторитарно-голословным, к нему подбирается иллюстрирующий пример: «В средневековой

¹ Гаспаров М. Л. О школе и образовании (из интервью для газеты «Первое сентября»). — Гаспаров М. Л. Филология как нравственность. Сост. и ред. А.М. Зотовой. М., «Фортуна ЭЛ», 2012, стр. 210.

² Ограничусь ссылкой на одну из страниц в «Живом журнале»: <<http://ermsworth.livejournal.com/164280.html>>.

культуре своеобразен не только предмет изображения; своеобразно и само видение мира, отражение этого мира в памятниках литературы и искусства. Средневековый художник как будто не замечает, что мир трехмерен. В изобразительном искусстве преобладает плоскостное изображение, в иконах отсутствует перспектива, иконописец на одной плоскости изображает ряд разновременных действий. Так, на иконе „Преображение” иконописец помимо основного события — Преображения Христа на Фаворской горе — одновременно изображает, как Иисус с учениками поднимается на Фаворскую гору, передает чувство ужаса и страха, которое охватило учеников в момент Преображения Христа, и тут же изображает, как он вместе с учениками спускается с горы».

Для студента нашего времени религиозная природа средневековой культуры — очевидность, трюизм. Иное дело, что, как заметил известный исследователь древнерусской книжности Дмитрий Буланin, даже если современный человек считает себя верующим и воцерковлен, это отнюдь не гарантирует понимания им религиозной культуры прошлого: «<...> Подлинные религиозные чувства теперешнего интерпретатора не имеют значения в той мере, в какой они не имеют отношения к сакральным предметам древности; в число нынешних безбожников, в указанном значении, попадут и истово верующие, по их собственному убеждению, люди». Ведь «религиозную культуру можно постичь только как специфическое отражение религиозного сознания ее носителей, что предполагает хотя бы частичное соприкосновение с установленной этими последними системой ценностей. Разговор на равных»³.

Для 1982 — 1983 годов, к которым относятся записи лекций, выявление и акцентирование религиозной природы древнерусской словесности в курсе для студентов трюизмом вовсе не было. А было поступком, требовавшим настоящего мужества: и В. А. Грихин, и другой медиевист профессор филфака МГУ В. В. Кусков за такой подход подверглись гонениям, а от Грихина «сверху» требовали внести в экзаменационные билеты вопрос об атеистических мотивах в древнерусской литературе!⁴ Стороннему наблюдателю все это может показаться невероятным: ведь в эти же годы выходили первые тома серии «Памятники литературы Древней Руси» под редакцией Д. С. Лихачева, в которых из книги в книгу жития святых перемежались с проповедями. Однако *quod licet Jovi, not licet bovi*: авторитет Лихачева, академика, официально признанного главным древником Советского Союза, позволял ему и его сотрудникам многое большее, чем прочим. К тому же к вузовским преподавателям предъявлялись более жесткие критерии идеологической лояльности и надежности, чем к кабинетным ученым.

Очень точно и выразительно представлена в грихинских лекциях связь средневекового религиозного мировоззрения и словесности. Выделены девять особенностей мировоззрения, определяющих свойства литературы. Первая особенность: бинарность мышления, противопоставление реального ирреальному, временного — вечному. Живя в реальном мире, человек готовит себя к иному, блаженному миру». Особенность вторая: «имперсональность, анонимность. Это важная отличительная особенность, связанная с христианской концепцией личности человека. Гордыня почиталась величайшим грехом, а смирение — верхом добродетели». Третья особенность: «традиционность». Четвертая: «авторитарность». «Общество вырабатывает понятие об авторитете. Непререкаемым авторитетом становятся тексты Священного Писания и сочинения Отцов Церкви». Пятое свойство: «провиденциализм». «Ход и развитие исторических событий объясняется не волей и разумом человека, а вмешательством потусторонних сил — божественных или дьявольских». Шестое: «символизм». «...Это одна из отличительных черт средневекового мировоззрения. Это система видения мира и ориентации в нем». Черта седьмая: историзм («герои только исторические личности»). Восьмая: «ритуальность, или этикетность». И наконец, девятое качество: «синкретизм, цельность мировоззрения».

³ Буланin Д. М. Традиции и новации в интерпретации русской письменной культуры первых веков: Заметки к переводу книги С. Франклина «Письменность, общество и культура в Древней Руси (около 950 — 1300 гг.)». СПб., «Дмитрий Булавин», 2010, стр. 48, 61.

⁴ См. об этом во вступительной статье к книге: Т. Л. Александрова, Т. В. Суздальцева. Души высокий строй. Памяти учителя, стр. 20 — 23, 25.

В лекциях подробно рассказывается о таких предметах, распространяться о которых в советское время было не принято, да и сейчас далеко не все авторы учебных курсов уделяют им должное внимание. Например, это агиологические типы, чины святости и их связь с разновидностями агиографии: «Центральная часть (жития. — А. Р.) определяется типом подвига святого:

- Житие Стефана Пермского — святительское.
- Житие Сергия Радонежского — преподобническое.

Сам тип подвига определяет сюжетные особенности».

Грихин в своих лекциях постоянно стремится приблизить древнерусскую словесность к миру слушателей, обращаясь к их опыту и знаниям. Так, рассказывая о Житии Сергия Радонежского, он напоминает об известной картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Одновременно он показывает древнерусскую литературу как единое целое, в преемственности и взаимосвязи, например, когда сообщает, что такой прием, как выстраивание череды риторических вопросов, в Житии Стефана Пермского, написанном Епифанием Премудрым в конце XIV столетия, восходит к проповедям Кирилла Туровского, составленным больше чем за два века до того. Так же автор лекций прослеживает черты сходства между древнерусской словесностью и литературой Нового времени, объясняя более далекое через то, что ближе и привычнее. Например, так говорит о плаче княгини Евдокии в «Слове о житии Дмитрия Ивановича, царя русского»: «Это литературно-эмоционально-художественная переработка погребальных стихир Иоанна Дамаскина (достаточно близкий к тексту и сохраняющий образную систему оригинала перевод этих стихир можно прочесть в поэме А. К. Толстого „Иоанн Дамаскин“)».

Несомненное и очень важное достоинство грихинских лекций заключается в отсутствии эгоцентризма — качестве среди авторов лекционных курсов и учебных пособий не очень частом. Так, размышляя о методе в древнерусской литературе⁵, он не навязывает своей точки зрения, а предлагает обзор концепций других ученых: Д. С. Лихачева, И. П. Еремина, А. Н. Робинсона. В лекции о «Слове о полку Игореве» он излагает четыре версии по поводу жанра этого памятника: 1) памятник торжественного красноречия (концепция И. П. Еремина); 2) основа «Слова» — историческая повесть; 3) «Слово» — обработанная былина; 4) это произведение вне жанровой системы (мнение В. В. Кускова).

Еще одно достоинство грихинских лекций — их полнота. Как известно, «нельзя объять необъятное», и лекторы обычно жертвуют полнотой картины древнерусской словесности ради глубины и пристальности анализа, ограничиваясь рассказом о некоторых произведениях⁶. Грихин поступил иначе, предпочтя поведать слушателям пусть коротко, но обо всей произведениях, включенных в учебную программу. Глубина характеристик отдельных памятников, конечно, при этом пострадала. Зато сохранилась цельная картина.

Читая эту книгу, должен признать, что в ней есть изъяны, порожденные, очевидно, необходимостью представить предмет — древнерусскую словесность в контексте истории и культуры — в ясных, легко запоминающихся признаках и свойствах. Скажем, в лекции, посвященной литературе Московской Руси XIV — XV веков, попросту неверно утверждение: «Возвышению Москвы способствовало: 1. ее выгодное географическое положение; 2. надежная защита от внешних врагов; 3. после разгрома Владимиро-Суздальских земель к Москве стекались беженцы, росло население», Однако Москва не имела никаких географических преимуществ в сравнении с тогдашней соперницей Тверью, местоположение защищало ее от нападений извне не лучше, чем Тверь, а белокаменные стены не были решающим преимуществом. Что же касается третьего пункта, то он может быть не причиной, а следствием благоприятных факторов. Главные причины возвышения Москвы были не географические или экономические, а, как давно заметил В. О. Ключевский, по-

⁵ Сама проблема, по-моему, надуманная: категория художественного метода, не особенно полезная даже в отношении литературы Нового времени, к древнерусской словесности, уверен, вообще не применима). Но на рубеже 1970 — 1980-х годов эта проблема считалась реальной и весьма серьезной.

⁶ Именно так, например, построен замечательный курс И. П. Еремина; см.: Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Изд. 2-е, доп. Л., Издательство ЛГУ, 1987.

литические: отсутствие вплоть до княжения Василия II распрей в роде Даниловичей и поддержка Церкви.

К сожалению, в одном случае медвежьей услугой автору лекций оказали редакторы-составители. «Лекция 10. Московская литература XIV — XV вв. Куликовская битва. Второе южнославянское влияние. Творчество Епифания Премудрого и Пахомия Серба» представляет собой не запись или реконструкцию подлинной лекции, а контаминацию конспектов с фрагментами книги Грихина «Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV — XV вв.» (М., 1974): «Мы позволили себе объединить материал лекции с фрагментами доступной нам печатной работы <...> («Проблемы стиля...» — А. Р.). Это дало возможность, с одной стороны, сохранить ссылки на те исследования, на которые опирался В<ячеслав> А<ндреианович>, а с другой — выстроить текст в соответствии с планом устного повествования и воспроизвести его точку зрения на проблему в той полноте, в которой он не всегда мог ее высказать в подцензурных советских изданиях». Однако это совершенно неоправданная и произвольная операция: из двух текстов автора — научного и учебного — создается один, ему не принадлежащий. Вообще, составители в отдельных случаях слишком вольно обращаются с текстом. В предисловии к лекциям они так формулируют свои принципы подготовки текста: «...Также нами были использованы следующие опубликованные работы В. А. Грихина: История древнерусской литературы XI — XIII вв. Методические указания. М., 1987; История древнерусской литературы XIV — XVII вв. Методические указания. М., 1988 (посмертное издание); Принципы стиля древнерусской агиографии XIV-XV вв. Издательство Московского Университета, 1974⁷. Опираясь на эти материалы, мы стремились как можно точнее воспроизвести как подход Вячеслава Андриановича к той или иной теме, так и его методические и методологические принципы». Но ведь задача издателей лекционного курса — воспроизведение не некоего подхода автора вообще, а подхода, присущего именно и только этим лекциям!⁸

Обращение к тексту небольшой книги «Проблемы стиля древнерусской агиографии...» неоправданно и по другой причине: оно невольно дискредитирует автора лекций, наносит ущерб его репутации. Все дело в том, что эта книга несет на себе глубокий отпечаток советской эпохи. Грихин в ней защищает Епифания Премудрого, автора житий Стефана Пермского и Сергия Радонежского, противопоставляя и книжника, и обоих русских святых современному им религиозному течению — исихазму, с которым вслед за Д. С. Лихачевым стали связывать и агиографа, и самих святых. Исихазм (некий особенно отталкивающий иноземный, «византийский» исихазм!) под пером Грихина превращается в идеологический жупел, подается как мрачный, темный фон, на котором должны воссиять «белые одежды» Епифания, Стефана и Сергия: «В этом виде [византийском] он никогда не был свойственен русскому монашеству. Крайние аскетические формы, мало чем отличающиеся от ереси, нам были чужды. Между тем, для южных славян различие между исихазмом и богомилской ересью было незначительно»; «Реальный мир для исихаста не существует. Это скверна. Цель человека — путем созерцания приблизиться к божеству»; «Мирозозерцание Епифания Премудрого опирается не на исихастское воззрение, а на Священное Писание...» Мало-мальски осведомленный читатель этих пассажей (не говоря уже о тех, кто знаком с работами отца Иоанна Мейендорфа или философа С. С. Хоружего, например) способен лишь изумиться: исихазм, традиция которого очевидна и у такого древнерусского книжника, как преподобный Нил Сорский, и у такого «народного» святого, как Серафим Саровский, исихазм, учителя которого Григорий Палама и Григорий Синаит были причислены к лику святых, почти приравняется к ереси и сравнивается с дуалистическим вероучением богомилов! Причем приверженность исихазму искусственно противопоставляется верности Священному Писанию... С Грихиным нельзя не согласиться в том, что нет

⁷ Правильно: «Проблемы стиля...»

⁸ Объясним, хотя и не вполне корректен другой принцип, избранный составителями, — замена авторского пересказа древнерусских произведений, не сохраненного в конспектах, цитатами: «Поскольку воспроизвести без искажений свободный пересказ этих отрывков на настоящий момент не представляется возможным, мы намеренно заменяли их достаточно пространными цитатами». Решение это, видимо, неизбежное. Но почему не внести эти цитаты в угловые скобки?

оснований возводить епифаниевский стиль «плетения словес» к исихазму, как это делал Лихачев, чья концепция была почти непререкаемой. Однако представление об этом религиозном течении грихинская книга 1974 года формирует превратное.

Такая пристрастная и совершенно несправедливая характеристика исихазма объясняется, конечно же, временем, в которое этот труд появился. Автор действовал в соответствии с принципом, который один известный историк литературы как-то в устной беседе уподобил поведению в ситуации пожара. «Горит» дом мировой культуры, которую советские идеологи подвергли жесточайшей фильтрации, многое отринув. Что остается честному филологу, историку культуры: поспешить вынести из «пожара» хоть что-нибудь, реабилитируя и отрицая его связь с «проклятым прошлым». Так выводили из горящего здания Блока, объявив его не вполне символистом и прогрессивным писателем, потом то же самое было проделано с Андреем Белым. Но если есть «хорошие», идеологически приемлемые писатели и явления культуры, то должны быть и «плохие», «враги», создававшие контрастный фон. Среди символистов такими оказались Гиппиус и Мережковский, за счет которых вытаскивали из «пламени» Блока и Белого. Грихин отвел аналогичную роль контрастного «фона» в средневековой православной культуре исихазму, ограждая от остракизма древнерусских книжников и святых, сохраняя за собой право писать уважительно и любовно о русском Православии. Кстати, похожим (и одновременно противоположным!) образом поступал Лихачев, когда в своих работах писал о неоплатонических истоках исихазма, эту преемственность решительно гиперболизируя, а в чем-то и измышляя. Только он в свой черед «спасал» исихазм, как бы выводя его за пределы религиозной ортодоксии⁹.

Эти вынужденные манипуляции с предметом исследования необходимо обязательно учитывать при оценке научных трудов, созданных медиэвистами советской эпохи. И верно, негоже за это бросать в них камни: следует понять и принять эту вынужденную тактику как данность. Но зачем знакомить современных читателей, желающих постичь древнерусскую словесность, с ложными оценками и трактовками, порожденными идеологическим диктатом. Ведь в подлинных лекциях Грихина следов таких идеологических травм практически нет! Между тем у молодого читателя, не знающего о контексте, в котором создавалась и издавалась книга о стиле древнерусской агиографии, может возникнуть совершенно ложное представление о Грихине-лекторе как о человеке, не знающем предмета или подверженном конъюнктуре.

Вступительная статья к книге лекций производит двойственное впечатление. С одной стороны, ее авторы Т. Л. Александрова и Т. В. Суздальцева воссоздали замечательный портрет Учителя — психологический и духовный, основанный на драгоценных личных воспоминаниях. С другой — из текстов вступления нельзя ничего узнать ни о среде, в которой вырос и сформировался Вячеслав Андрианович, ни о его наставниках в изучении средневековой русской книжности. О пути в науку и педагогику и о духовной эволюции.

Конечно, как и любой учебный или научный труд тридцатилетней давности, лекционный курс Грихина в чем-то устарел. В. М. Живов, недавно покинувший нас замечательный ученый, как-то трезво и мужественно признал: «Кто из нас, филологов, не подозревает, что наша участь мгновенна и что через полвека наши интеллектуальные находки, столь вдохновлявшие нас в свое время и находившие желанный отклик у наших коллег, вызовут у досужего читателя лишь ироническую усмешку, огульно распространяющуюся на самые речевые навыки достопочтенной старины»¹⁰. Однако учебные труды, в отличие от ученых штудий, стареют не столь быстро — прежде всего потому, что призваны заключать в себе не столько

⁹ При этом Лихачев, по-видимому, развивал идеи, высказанные К. Ф. Радченко в книге, изданной еще в 1898 году; см.: об этом: Лук и н П. Е. Письмена и Православие: Историко-филологическое исследование «Сказания о письменах» Константина Философа Констанцкого. Под ред. Н. Н. Запольской. М., «Языки славянской культуры», 2001, стр. 191. Однако в новом (советском) идейно-культурном контексте такая трактовка приобрела особенный, также новый, смысл.

¹⁰ Живов В. М. XVIII век в работах Г. А. Гуковского, не загубленных советским хроносом. — Гуковский Г. А. Ранние работы по истории русской литературы XVIII века. М., «Языки русской культуры», 2001, стр. 7.

оригинальные концепции и интерпретации, сколько устоявшиеся сведения, проверенные временем. Как признал А. Л. Зорин, автор предисловия к переизданию далеко не нового, но прекрасного учебного труда — книги Г. А. Гуковского «Русская литература XVIII века»: «Сегодняшний студент едва ли может безоговорочно доверять учебнику Г. А. Гуковского. Суть дела однако не в частных фактах, забывающихся после экзамена, и даже не в общих концепциях, которые, как известно, подвержены историческим переменам. „Русская литература XVIII века” при всех своих просчетах и слабостях дает своему читателю на редкость живое и полное ощущение своего предмета. И в этом отношении Гуковского едва ли кому-нибудь скоро удастся превзойти»¹¹. Эти слова можно с полным правом отнести и к книге лекций В. А. Грихина, которые, уверен, найдут и, знаю, уже находят благодарных читателей-«сочувственников».

Все-таки живое, участливое, трепетное и умное слово «отзовется», не канет в небытие...

Андрей РАНЧИН

¹¹ Зорин А. Григорий Александрович Гуковский и его книга. — Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. Учебник. Вступ. ст. А. Зорина. М., «Аспект Пресс», 1999, стр. 12.